

Александр Степанович Грин

# Блистающий мир



Александр Грин  
**Блистающий мир**

«Public Domain»

1921-1923

**Грин А. С.**

Блистающий мир / А. С. Грин — «Public Domain», 1921-1923

© Грин А. С., 1921-1923  
© Public Domain, 1921-1923

## Содержание

Часть первая	5
Глава I	5
Глава II	7
Глава III	8
Глава IV	9
Глава V	12
Глава VI	15
Глава VII	17
Глава VIII	21
Глава IX	24
Глава X	28
Глава XI	31
Конец ознакомительного фрагмента.	32

# Александр Грин Блистающий мир

## Часть первая Опрокинутая арена

*Это – там...*

*Свифт*

### Глава I

Семь дней пестрая суматоха афиш возвещала городским жителям о необыкновенном выступлении в цирке «Солейль» Человека Двойной Звезды; еще никогда не говорилось так много о вещах подобного рода в веселящихся гостиных, салонах, за кулисами театра, в ресторанах, пивных и кухнях. Действительно, цирковое искусство еще никогда не обещало так много, – не залучало волнения в область любопытства, как теперь. Даже атлетическая борьба – любимое развлечение выродившихся духовных наследников Нерона и Гелиогабала – отошла на второй план, хотя уже приехали и гуляли напоказ по бульварам зверские туши Грепера и Нуара – негра из африканской Либерии, – раскуривая толстейшие регалии, на удивление и сердечный трепет зрелых, но пылких дам. Даже потускнел знаменитый силач-жонглер Мирэй, бросавший в воздух фейерверк светящихся гирь. Короче говоря, цирк «Солейль» обещал истинно-небывалое. Постояв с минуту перед афишей, мы полнее всяких примеров и сравнений усвоим впечатление, производимое ею на толпу. Что же там напечатано?

«В среду, – говорила афиша, – 23 июня 1913 г. состоится первое, единственное и последнее выступление ранее никогда нигде не выступавшего, поразительного, небывалого, исключительного феномена, именующего себя Человек Двойной Звезды.

Не имеющий веса  
Летящий бег  
Чудесный полет

Настоящее парение в воздухе, которое будет исполнено без помощи скрытых механических средств и каких бы то ни было приспособлений.

Человек Двойной Звезды остается висеть в воздухе до трех секунд полного времени.

Человек Двойной Звезды – величайшая научная загадка нашего века.

Билеты, ввиду исключительности и неповторимости зрелища, будут продаваться с 19-го по день представления; цены утроены».

Агасиц, директор цирка «Солейль», дал журналистам следующие объяснения. Несколько дней назад к нему пришел неизвестный человек; даже изошренный глаз такого пройдохи, как Агасиц, не выцарапал из краткого свидания с ним ничего, кладущего штамп. На визитной карточке посетителя стояло: Э. Д. – только; ни адреса, ни профессии...

Говоря так, Агасиц принял вид человека, которому известно гораздо более, чем о том можно подумать, но сдержанного в силу важных причин. Он сказал:

– Я видел несомненно образованного и богатого человека, чуждого цирковой среде. Я не делаю тайны из того, что наблюдал в нем, но... да, он – редкость даже и для меня, испытавшего

за тридцать лет немало. У нас он не служит. Он ничего не требовал, ничего не просил. Я ничего не знаю о нем. Его адрес мне неизвестен. Не было смысла допытываться чего-либо в этом направлении, так как одно-единственное его выступление не связано ни с его прошлым, ни с личностью. Нам это не нужно. Однако «Солейль» стоит и будет стоять на высоте, поэтому я не могу выпустить такую редкую птицу. Он предложил больше, чем дал бы сам Барнум, воскреснув и явившись сюда со всеми своими зверями.

Его предложение таково: он выступит перед публикой один раз; действительно *один* раз, ни больше ни меньше, – *без* гонорара, *без* угощения, *без* всякого иного вознаграждения. – Эти три *без* Агассица свистнули солидно и вкусно. – Я предлагал то и то, но он отказался.

По его просьбе, я сел в углу, чтобы не помешать упражнению. Он отошел к двери, подмигнул таинственно и лукаво, а затем – без прыжка, без всякого видимого усилия, плавно отделившись в воздух, – двинулся через стол, задержавшись над ним, – над этой вот самой чернильницей, – не менее двух секунд, после чего неслышно, без сотрясения, его ноги вновь коснулись земли. Это было так странно, что я вздрогнул, но он остался спокоен, как клоун Додди после того, как его повертит в зубах с трапеции Эрнст Вит. «Вот все, что я умею, – сказал он, когда мы уселись опять, – но это я повторю несколько раз, с разбега и с места. Возможно, что я буду в ударе. Тогда публика увидит больше. Но за это поручиться нельзя».

Я спросил, что он знает и думает о себе как о небывалом, дивном феномене. Он пожал плечами. «Об этом я знаю не больше вашего; вероятно, не больше того, что знают некоторые сочинители о своих сюжетах и темах: они *являются*. Так *это* является у меня». Более он не объяснил ничего. Я был потрясен. Я предложил ему миллион; он отказался – и даже – зевнул. Я не настаивал. Он отказался так решительно и бесспорно, что настойчивость равнялась бы унижению. Но, естественно, я спросил, какие причины заставляют его выступить публично. «Время от времени, – сказал он, – слабеет мой дар, если не оживлять его; он восстанавливается вполне, когда есть зрители моих упражнений. Вот – единственное ядро, к которому я прикован». Но я ничего не понял; должно быть, он пошутил. Я вынес впечатление, что говорил с замечательным человеком, хранящим строжайшее инкогнито. Он молод, серьезен, как анатом, и великолепно одет. Он носит бриллиантовую булавку тысяч на триста. О всем этом стоит задуматься.

На другой же день утренние и вечерние газеты тиснули интервью с Агассицем; в одной газете появился даже импровизированный портрет странного гастролера. Усы и шевелюра портрета сделали бы честь любой волосорастительной рекламе. На читателя, выкатив глаза, смотрел свирепый красавец.

Между тем виновник всего этого смятения, пересмотрев газеты и вдоволь полюбовавшись интересным портретом, спросил: «Ну, Друд, ты будешь двадцать третьего в цирке?»

Сам отвечая себе, он прибавил: «Да. Я буду и посмотрю, как это сильное дуновение, этот удар вихря погасит маленькое косное пламя невежественного рассудка, которым чванится „царь природы“. И капли пота покроют его лицо»...

## Глава II

Не менее публики подхвачена была волной острого интереса вся цирковая труппа, включая прислугу, билетеров и конюхов. Пошел слух, что Двойная Звезда (как приказал он обозначить себя в афише) – граф и миллиардер, и о нем вздыхали уже наездницы, глотая слюнки в мечтах ресторанны-ювелирного качества; уже пытали зеркало балерины, надеясь каждая увлечь сиятельного оригинала, и с пеной на губах спорили, – которую из них купит он подо-роже. Клоуны придумывали, как смешить зрителя, пародируя новичка. Пьяница-сочинитель Дебор уже смастерил им несколько диалогов, за что пил водку и брнчал серебряной мелочью. Омраченные завистью гимнасты, вольтижеры и жонглеры твердили единым духом, до послед-ного момента, что таинственный гастролер – шарлатан из Индии, где научился действовать немного внушением, и предсказывали фиаско. Они же пытались распространить весть, что соперник их по арене – беглый преступник. Они же сочинили, что Двойная Звезда – карточный шулер, битый неоднократно. Им же принадлежала интересная повесть о шантаже, которым будто бы обезоружил он присмирившего Агассица. Но по существу дела никто не мог ничего сказать; дымная спираль сплетни вилась, не касаясь центра. Один лишь клоун Арси, любивший повторять: «Я знаю и видал все, поэтому ничему не удивляюсь», – особенно подчеркивал свою фразу, когда поднимался разговор о Двойной Звезде; но на больном, желчном лице клоуна отражался тусклый испуг, что его бедную жизнь может поразить нечто, о чем он задумывается с волнением, утратив нищенский покой, добытый тяжким трудом гримас и ушибов.

Еще много всякого словесного сора – измышлений, болтовни, острот, издевательств и предсказаний – застряло в ушах разных людей по поводу громкого выступления, но всего не подслушаешь. В столбе пыли за копытами коней Цезаря неважна отдельно каждая суцая пылинка; не так уж важен и отсвет луча, бегущего сквозь лиловые вихри за белым пятном золотого императорского шлема. Цезарь пылит... Пыль – и Цезарь.

### Глава III

23-го окно цирковой кассы не открывалось. Надпись гласила: «Билеты проданы без остатка». Несмотря на высокую цену, их раскупили с быстротой треска; последним билетам, еще 20-го, была устроена лотерея – в силу того, что они вызвали жестокий спор претендентов.

Пристальный взгляд, брошенный в этот вечер на места для зрителей, подметил бы несколько необычный состав публики. Так, ложа прессы была набита битком, за приставными стульями блестели пенсне и воротнички тех, кто был осужден, стоя, переминаясь с ноги на ногу. Была также полна ложа министра. Там сиял нежный, прелестный мир красивых глаз и тонких лиц молодых женщин, белого шелка и драгоценностей, горящих, как люстры, на фоне мундиров и фраков; так лунный водопад в бархате черных теней струит и искрит стречи свои. Все ложи, огибающие малиновый барьер цветистым кругом, дышали роскошью и сдержанностью нарядной толпы; легко, свободно смеясь, негромко, но отчетливо говоря, эти люди рассматривали противоположные стороны огромного цирка. Над ареной, блистая, реяла воздушная пустота, сомкнутая высоко вверху куполом с голубизной вечернего неба, смотрящего в открытые стеклянные люки.

Выше кресел помещалась физиономическая пестрота интеллигенции, торговцев, чиновников и военных; мелькали знакомые по портретам черты писателей и художников; слышались замысловатая фраза, удачное замечание, изысканный литературный оборот, сплетни и семейные споры. Еще выше жалась на неразгороженных скамьях улица – непросеянная толпа: те, что бегут, шагают и проплывают тысячами пар ног. Над ними же, за высоким барьером, оклеенным цирковыми плакатами, на локтях, цыпочках, подбородках и грудях, придавленных теснотой, сжимаясь шестигранно, как сот, потели парии цирка – галерея; силясь высвободить хотя на момент руки, они терпели пытку духоты и сердцебиения; более спокойными в этом месиве выглядели лица людей выше семи вершков. Здесь грызли орехи; треск скорлупы мешался с свистками и бесцеремонными окриками.

Освещение а gіогно, возбуждающе яркий свет такой силы, что все, вблизи и вдали, было как бы наведено светлым лаком, погружало противоположную сторону в блестящий туман, где, однако, раз останавливался там взор, все виделось с отчетливостью бинокля – и лица и выражения. Цирк, залитый светом, от укрепленных под потолком трапеций, от медных труб музыкантов, шелестящих нотами среди черных пюпитров, до свежих опилок, устилавших арену, – был во власти электрических люстр, сеющих веселое упоение. Закрыв глаза, можно было по слуху намечать все точки пространства – скрип стула, кашель, сдержанный полутакт флейты, гул барабана, тихий, взволнованный разговор и шум, подобный шуму воды, – шелеста движений и дыхания десятитысячного человеческого заряда, внедренного разом в поперечный разрез круглого здания. Стоял острый запах тепла, конюшен, опилок и тонких духов – традиционный аромат цирка, родственный пестроте представления.

Начало задерживалось; нетерпение овладело публикой; по галереям несколько раз, вспыхивая неровным треском, перекатились аплодисменты. Но вот звякнул и затрепетал третий звонок. Бухнуло глухое серебро литавр, взвыл тромбон, выстрелил барабан; медь и струны в мелькающем свисте флейт понесли воинственный марш, и представление началось.

## Глава IV

Для этого вечера дирекция выпустила лучшие силы цирка. Агасиц знал, что к вершине горы ведут крутые тропинки. Он постепенно накаливал душу зрителя, громоздя впечатление на впечатление с расчетливым и строгим разнообразием; благодаря этому зритель должен был отдать весь скопленный жар души венчающему концу: в конце программы значился Двойная Звезда.

Арена ожила: гимнасты сменяли коней, кони – клоунов, клоуны – акробатов; жонглеры и фокусники следовали за укротителем львов. Два слона, обвязанные салфетками, чинно поужинали, сидя за накрытым столом, и, княжеским движением хобота бросив «на чай», катались на деревянных шарах. Задумчивое остоленение клоунов в момент неизбежного удара по затылку гуттаперчевой колбасой вызвало не одну мигрень слабых голов, заболевших от хохота. Еще клоуны почесывались и острили, как наездник с наездницей, на белых астурийских конях, вылетели и понеслись вокруг арены. То были Вахх и вакханка – в шкурах барса, венках и гирляндах роз; они, мчась с силой ветра, разыграли мимическую сцену балетного и акробатического характера, затем скрылись, оставив в воздухе блеск и трепет грациозно-шалых тел, одержимых живописным движением. После них, предшествуемые звуком трубы, вышли и расселись львы, ревом заглушая оркестр; человек в черном фраке, стреляя бичом, унизил их, как хотел; пена валилась из их пастей, но они вальсировали и прыгали в обруч. Четыре гимнаста, раскачиваясь под куполом, перебрасывались с одной трапеции на другую жуткими вольтами. Японец-фокусник вытащил из-за ворота трико тяжеловесную стеклянную вазу, полную воды и живых рыб. Жонглер доказал, что нет предметов, которыми нельзя было бы играть, подбрасывая их на воздух и ловя, как ласточка мух, без ушибов и промаха; семь зажженных ламп взлетали из его рук с легкостью фонтанной струи. Концом второго отделения был наездник Ришлей, скакавший на пяти рыжих белогривых лошадях и переходя, стоя, с одной на другую так просто, как мы пересаживаемся на стульях.

Звонок возвестил антракт; публика повалила в фойе, курительные, буфеты и конюшни. Служители прибирали арену. За эти пятнадцать минут племянница министра Руна Бегуэм, сидевшая в его ложе, основательно похоронила надежды капитана Галля, который, впрочем, не сказал ничего особенного. Он глухо заговорил о любви еще утром, но им помешали. Тогда Руна сказала «до свиданья» – с весьма вразумительным холодом выражения, но ослепшее сердце Галля не поняло ее ровного, спокойного взгляда; теперь, пользуясь тем, что на них не смотрят, он взял опущенную руку девушки и тихо пожал ее. Руна, бестрепетно отняв руку, повернулась к нему, уткнув подбородок в бархат кресла. Легкая, светлая усмешка легла меж ее бровей прелестной морщинкой, и взгляд сказал – «нет».

Галль сильно похудел в последние дни. Его левое веко нервно подергивалось. Он оставил на Руне такой долгий, отчаянный и пытливый взгляд, что она немного смягчилась.

– Галль, все проходит! Вы – человек сильный. Мне искренно жаль, что это случилось с вами; что причиной вашего горя – я.

– Только вы и могли быть, – сказал Галль, ничего не видя, кроме нее. – Я вне себя. Хуже всего то, что вы еще не любили.

– Как?!

– Эта страна вашей души не тронута. В противном случае воспоминание чувства, может быть, сдвинуло бы ваше сердце с мертвой точки.

– Не знаю. Но хорошо, что наш разговор переходит в область соображений. К этому я прибавлю, что смотрела бы как на несчастье на любовь, если поразит она меня без судьбы.

Руна покойно обвела взглядом ряд лож, точно желая выяснить, не таится ли уже теперь где-нибудь это несчастье среди пристальных взглядов мужчин; но восхищение так надоело ей, что она относилась к нему с презрительной рассеянностью богача, берущего сдачу медью.

– Любовь и судьба – одно... – Галль помолчал. – Или... что вы хотите сказать?

– Я подразумеваю исключительную судьбу, Галль. Знаю, – Руна скорбно двинула обнаженным плечом, – что такой судьбы я... недостойна. – Высокомерие этого слова скрылось в бесподобной улыбке. – Но я все же хочу, чтобы эта судьба была *особенная*.

Галль понял по-своему ее горделивую мечту.

– Конечно, я вам не пара, – сказал он с искренней обидой и с не менее искренним восторгом. – Вы достойны быть королевой. Я – обыкновенный человек. Однако нет вещи, над которой я задумался бы, прикажи вы мне исполнить ее.

Руна повела бровью, но улыбнулась. Сильная любовь возбуждала в ней религиозное умиление. Когда Галль не понял ее, она захотела подвинуть его ближе к своей душе. Так добрые люди любят, посетовав нищему о его горькой доле, заняться анализом своих ощущений на тему: «Добрый ли я человек?» А нищему все равно.

– Для королевы я, пожалуй, умнее, чем надо быть умной в ее сане, – сказала Руна. – Я ведь знаю людей. Должна вас изумить. Та судьба, с какой могла бы я встретиться, не смотря на нее вниз, – едва ли возможна. Вероятно, нет. Я очень тщеславна. Все, что я думаю о том, смутно и ослепительно. Вы знаете, как иногда действует музыка... Мне хочется жить как бы в несмолкающих звуках торжественной, всю меня перерождающей музыки. Я хочу, чтобы внутреннее волнующее блаженство было осмыслено властью, не знающей ни предела, ни колебаний.

Эту маленькую, беззастенчивую исповедь Руна произнесла с грациозной простотой молодой матери, нашептывающей засыпающему ребенку сны властелинов.

– Экстаз?

– Я не знаю. Но слова заключают больше, чем о том думают люди, жалеющие о немоци слов. Довольно, а то вы измените мнение обо мне в дурную сторону.

– Я не меняю мнений, не меняю привязанностей, – сказал Галль и, видя, что Руна задумалась, стал молча смотреть на ее легкий профиль, собирая, для полноты впечатления, все, что о ней знал. Десяти лет она написала замечательные стихи. Семнадцатый и восемнадцатый годы она провела в кругосветном плавании, и ее экзотические рисунки были проданы с большой выставки по дорогой цене, в пользу слепых. Она не искала популярности этого рода – не любила ее. Она великолепно играла; ей по очереди пророчили то ту, то другую славу, – она славы не добивалась. В ее огромном доме можно было переходить из помещения в помещение с нарастающим чувством власти денег, одухотворенной художественной и разносторонней душой. Независимая и одинокая, она проходила жизнь в душевном молчании, без привязанностей и любви, понимая лишь инстинктом, но не опытом, что дает это, еще не испытанное ею чувство. Она знала все европейские языки, изучала астрономию, электротехнику, архитектуру и садоводство; спала мало, редко выезжала и еще реже устраивала приемы.

Этот невозмутимый, холодный мир был заключен в совершенную оболочку. По мягкости линий и выражения ее лицо было лицом блондинки, но под сверкающей волной черных волос давало непостижимое сочетание зноя и нежности. Ее вполне женственная, без впечатления хрупкости, фигура веяла свежестью и весельем ясного тела. Она была чуть пониже Галля; он же, при среднем росте, казался выше благодаря эполетам.

Галль – интеллигентный воин с немного расплывчатым лицом и меланхолическими глазами доброго человека, которым пытался иногда придать высокомерное выражение, передумав о Руне Бегуэм все, что пришло на мысль, обратил внутренний взгляд к себе, но, не найдя там ничего особенного, кроме здоровья, любви, службы и аккуратных привычек, почувствовал печаль смирения. Ему не следовало говорить о любви. Все же в момент третьего звонка, как бы дернутый его трелью за язык, он успел сказать: «Я желаю вам счастья...»

Конец фразы: «если бы – со мной...» – застрял в его горле. Он разгладил усы и приготовился смотреть представление.

## Глава V

Последний перед выходом Двойной Звезды номер назывался «Бессилие оков». Он состоял в том, что широкоплечего, низкорослого человека связали по рукам и ногам толстыми веревками, опутали проволокой; сверх того опоясали кандалами руки и ноги. Затем его накрыли простыней; он повозился под ней минуты две и встал совершенно распутанный; узы валялись на песке.

Он ушел. Наступила глубокая, острая тишина. Музыка заиграла и смолкла. Цирк неслышно дышал. Заразительное ожидание проникло из души в душу, напрягая чувства; взгляды, направленные к выходной занавеси, молча вызывали обещанное явление. Музыканты перелистывали ноты. Прошло минут пять; нетерпение усиливалось. Верхи, потрещав вразброд, разразились залпами рукоплесканий протеста; середина поддержала их; низы беседовали, трепетали веерами, улыбались.

Тогда, вновь заставив стихнуть шум нетерпения, у выхода появился человек среднего роста, прямой, как пламя свечи, с естественной и простой манерой; задержась на мгновение, он вышел к середине арены, ступая мягко и ровно; остановясь, он огляделся с улыбкой, обвел взглядом сверкающую впадину цирка и поднял голову, обращаясь к оркестру.

– Сыграйте, – сказал он, подумав, негромко, но так внятно, что слова ясно прозвучали для всех, – сыграйте что-нибудь медленное и плавное, например, «Мексиканский вальс».

Капельмейстер кивнул, постучал и взмахнул палочкой.

Трубы зарокотали вступление; кружась, ветер мелодии охватил сердца пленом и мерой ритма; звон, трели и пение рассеяли непостижимую магию звука, в которой праздничнее сверкает жизнь и что-то прощается внутри, насыщая все чувства.

Двойная Звезда, – каким являлся он взгляду зрителей в эту минуту, – был человек лет тридцати. Его одежда состояла из белой рубашки с перетянутыми у кистей рукавами, черных панталон, синих чулок и черных сандалий; широкий серебряный пояс обнимал талию. Светлый, как купол, лоб нисходил к темным глазам чертой тонких и высоких бровей, придававших его резкому лицу выражение высокомерной ясности старинных портретов; на этом бледном лице, полном спокойной власти, меж тенью темных усов и щелью твердого подбородка презрительно кривился маленький, строгий рот. Улыбка, с которой он вышел, была двусмысленна, хотя не лишена равновесия, и полна скрытого обещания. Его волосы бобрового цвета слабо вились под затылком, в углублении шеи, спереди же чуть-чуть спускались на лоб; руки были малы, плечи слегка откинута.

Он отошел к барьеру, притопнул и, не спеша, побежал, с прижатыми к груди локтями; так он обогнул всю арену, не совершив ничего особенного. Но со второго круга раздались возгласы: «Смотрите, смотрите». Оба главных прохода набились зрителями: высыпали все служащие и артисты. Шаги бегущего исказились, уже двигался он гигантскими прыжками, без видимых для того усилий; его ноги, легко трогая землю, казалось, не поспевают за неудержимым стремлением тела; уже несколько раз он в течение прыжка просто перебирал ими в воздухе, как бы отталкивая пустоту. Так мчался он, совершив круг, затем, пробежав обыкновенным манером некоторое расстояние, резко поднялся вверх на высоту роста и замер, остановился в воздухе, как на незримом столбе. Он пробыл в таком положении лишь едва дольше естественной задержки падения – на пустяки, может быть, треть секунды, – но на весах общего внимания это отозвалось падением тяжелой гири против золотника, – так необычно метнулось пред всеми загадочное явление. Но не холод, не жар восторга вызвало оно, а смуту тайного возбуждения: вошло нечто из-за пределов существа человеческого. Многие повскакали; те, кто не уследил, в чем дело, кричали среди поднявшегося шума соседям, спрашивая, что случилось? Чувства уже были поражены, но еще не сбиты, не опрокинуты; зрители перекидывались замечаниями.

Балетный критик Фогард сказал: «Вот монстр элевации; с времен Агнессы Дюпорт не было ничего подобного. Но в балете, среди фейерверка иных движений, она не так поразительна». В другом месте можно было подслушать: «Я видел прыжки негров в Уганде; им далеко...» – «Факирство, гипноз!» – «Нет! Это делается с помощью зеркал и световых эффектов», – возгласило некое компетентное лицо.

Меж тем, отдыхая или раздумывая, по арене прежним неторопливым темпом бежал Двойная Звезда, сея тревожные ожидания, разрастающиеся неудержимо. Чего ждал взволнованный зритель? Никто не мог ответить себе на это, но каждый был как бы схвачен невидимыми руками, не зная, отпустят или сбросят они его, бледнеющего в непонятной тоске. Так чувствовали, как признавались впоследствии, даже мань-яки сильных ощущений, люди испытанного хладнокровия. Уже несколько раз среди дам взлетало высокое «ах!» с оттенком более серьезным, чем те, какими окрашивают это универсальное восклицание. Верхи, ничего не понимая, голосили «браво» и набивали ладони. Тем временем в толпе цирковых артистов, запрудивших выход, произошло движение; эти много видавшие люди были поражены не менее зрителей.

Прошло уже около десяти минут, как Двойная Звезда выступил на арену. Теперь он увеличил скорость, делая, по-видимому, разбег. Его лицо разгорелось, глаза смеялись. И вдруг ликующий детский крик звонко разлетелся по цирку: «Мама, мама! Он летит... Смотри, он не задевает ногами!»

Все взгляды разом упали на только теперь замеченное. Как пелена спала с них; обман мерного движения ног исчез. Двойная Звезда несся по воздуху на фут от земли, поднимаясь все круче и выше.

Тогда, внезапно, за некоей неуловимой чертой, через которую, перескакнув и струсив, заматалось подкошенное внимание, – зрелище вышло из пределов фокуса, став чудом, то есть тем, чего втайне ожидаем мы всю жизнь, но, когда оно наконец блеснет, готовы закричать или спрятаться. Покинув арену, Друд всплыл в воздухе к люстрам, обернув руками затылок. Мгновенно вся воображаемая тяжесть его тела передалась внутреннему усилию зрителей, но так же быстро исчезла, и все увидели, что выше галерей, под трапециями, мчится, закинув голову, человек, пересекая время от времени круглое верхнее пространство с плавной быстротой птицы, – теперь он был страшен. И его тень, ныряя по рядам, металась вниз.

Смятенный оркестр смолк; одинокий гобой взвыл фальшивой нотой и как подстреленный оборвал медный крик.

Вопли «Пожар!» не сделали бы того, что поднялось в цирке. Галерея завывала; крики: «Сатана! Дьявол!» подхлестывали волну паники; повальное безумие овладело людьми; не стало публики: она, потеряв связь, превратилась в дикое скопище, по головам которого, сорвавшись с мощных цепей рассудка, бешено гудя и скаля зубы, скакал Страх. Многие, в припадке внезапной слабости или головокружения, сидели, закрыв руками лицо. Женщины теряли сознание; иные, задыхаясь, рвались к выходам; дети рыдали. Всюду слышался треск балюстрад. Беглецы, запрудив арену, сталкивались у выходов, сбивая друг друга с ног, хватая и отталкивая передних. Иногда резкий визг покрывал весь этот кромешный гвалт; слышались стоны, ругательства, грохот опрокинутых кресел. А над цирком, выше трапеции и блоков, скрестив руки, стоял в воздухе Двойная Звезда.

– Оркестр, музыку!! – кричал Агасиц, едва сознавая, что делает.

Несколько труб взвыло предсмертным воплем, который быстро утих; затрещали поваленные пюпитры; эстрада опустела; музыканты, бросив инструменты, бежали, как все. В это время министр Дауговет, тяжело потирая костлявые руки и сдвинув седину бровей, тихо сказал двум быстро вошедшим к нему в ложу, прилично, но незначительно одетым людям: «Теперь же. Без колебания. Я беру на себя. Ночью лично ко мне с докладом, и никому больше ни слова!»

Оба неизвестных без поклона выбежали и смешались с толпой.

Тогда Друд сверху громко запел. Среди неистовства его голос прозвучал с силой порыва ветра; это была короткая, неизвестная песня. Лишь несколько слов ее было схвачено несколькими людьми: «Тот путь без дороги. . .» Каданс пропал в гуле, но можно было думать, что есть еще три стопы, с мужской рифмой в отчетливом слове «клир». Снова было не разобрать слов, пока на паузе гула они не окончились загадочным и протяжным: «Зовущий в блистающий мир».

От ложи министра на арену выступила девушка в платье из белых шелковых струй. Бледная, вне себя, она подняла руки и крикнула. Никто не расслышал ее слов. Она нервно смеялась. Ее глаза, блестя, неслись вверх. Она ничего не видела, не понимала и не чувствовала, кроме светлой бездны, вспыхнувшей на развалинах этого дня чудным огнем.

Галль подошел к ней, взял за руку и увел. Вся дрожа, она повиновалась ему почти бессознательно. Это была Руна Бегуэм.

## Глава VI

Когда, вновь коснувшись земли, Двойная Звезда стремительно направился к выходу, паника в проходе усилилась. Все, кто мог бежать, скрыться, – исчезли с его пути. Многие попадали в давке; и он беспрепятственно достиг кулис, взял там шляпу и пальто, а затем вышел через конюшни в аллею бульвара.

Он укрыл лицо шарфом и исчез влево, на свет уличных фонарей. Едва он отошел, как несколько беспощадных ударов обрушилось на его плечи и голову; в луче фонаря блеснул нож. Он повернулся; острие увязло в одежде. Стараясь освободить левую руку, за которую ухватились двое, правой он сжал чье-то лицо и резко оттолкнул нападающего; затем быстро взвился вверх. Две руки отцепились; две другие повисли на его локте с остервенением разъяренного бульдога. Рука Друда немела. Поднявшись над крышами, он увидел ночную иллюминацию улиц и остановился. Все это было делом одной минуты. Склонившись, с отвращением рассмотрел он сведенное ужасом лицо агента; тот, поджав ноги, висел на нем в борьбе с обмороком, но обморок через мгновение поразил его. Друд вырвал руку; тело понеслось вниз; затем из глубины, заваленной треском колес, вылетел глухой стук.

– Вот он умер, – сказал Друд, – погибла жизнь и, без сомнения, великолепная награда. Меня хотели убить.

У него было предчувствие, и оно не обмануло его. Он ждал дня выступления с улыбкой и грустью – безотчетной грустью горна, взирающего с вершины на обширные туманы низин, куда не долетит звук. И если он улыбался, то лишь приятным, невозможным вещам – чему-то вроде восхищенного хора, пытающего, теребя и увлекая его в круг радостно засиявших лиц: и что там, в том мире, где он плывет и дышит свободно? И нельзя ли туда сопутствовать, закрыв от страха глаза?

Друд несся над городскими огнями в гневе и торжестве. Медля возвращаться домой, размышлял он о нападении. Змея бросилась на орла. Вместе с тем он сознавал, что опасен. Его постараются уничтожить или, если в том не успеют, окружают его жизненный путь вечной опасностью. Его цели непостижимы. Помимо того, самое его существование – абсурд, явление нетерпимое. Есть положения, ясные без их логического развития: Венера Милосская в бакалейной лавке, сундук с шаровидными молниями, отправленный по железной дороге; взрывы на расстоянии. Он вспомнил цирк – так ясно, что в воздухе, казалось, снова блеснул свет, при котором разыгрались во всем их безобразии сцены темного исступления. Единственным утешением были поднятые вверх с криком победы руки неизвестной женщины; и он вспомнил стадо домашних гусей, гогочущих, завидя диких своих братьев, летящих под облаками: один гусь, вытянув шею и судорожно хлеща крыльями, запросился – тоже – наверх, но жир удержал его.

Приблизился свист перьев; ночная птица ударилась в грудь, забилась у лица и, издав стон ужаса, взмыла, сгинув во тьме. Друд миновал черту города. Над гаванью он пересек луч прожектора, соображая, что теперь, верно, будут протирать зеркало или глаза, думая, не померещился ли на фоне береговых скал человеческий силуэт. Действительно, в крепости что-то произошло, так как луч начал кроить тьму по всем направлениям, попадая, главным образом, в облака. Друд повернул обратно, развлекаясь обычной игрой; он населил по дороге свой путь воздушными ладьями, откуда слышался шепот влюбленных пар; они скользили к серпу луны, в его серебряную кисейку, бросающую на ковры и цветы свою тонкую белизну. Их кормчие, веселые, маленькие духи воздуха, завернув крылья под мышку, тянули парус. Он слышал смех и перебор струн. Еще выше лежала торжественная пустота, откуда из-за мириадом миль протягивались в прищуренный глаз иглы звездных лучей; по ним, как школьники, скатывающиеся с перил лестницы, сновали пузатенькие арапы, толкаясь, гримасничая и опрокидываясь,

подобно мартышкам. Все звуки, поднимающиеся с земли, имели физическое отражение; высоко летели кони, влача призрачную карету, набитую веселой компанией; дым сигар мутит звездный луч; возница, махая бичом, ловил слетевший цилиндр. В стороне скользили освещенные окна трамвая, за которыми господин читал газету, а фронт сосал тросточку, косясь на миловидное лицо соседки. Тут и там свешивались балконы, прорезанные светом дверей, укрытых зеленью, позволяющей видеть кончик туфли или опасный блеск глаз, мерцающих, как в засаде. Бежал воздушный газетчик, размахивая пачкой газет; кошка стремглав перелезла по невидимым крышам, и гуляющие останавливались над городом, раскланиваясь в теплую тьму.

Как только Друд устал, эта игра рассеялась, подобно стае комаров, если по ней хватил дождь. Он присел на фронтон башенных часов, которые снизу казались озаренным кружком в тарелку величиной, вблизи же являли двухсаженную амбразуру, заделанную стеклом толщиной дюйма в три, с аршинными железными цифрами. За стеклом, гремя, двигались шестерни, колеса и цепи; в углу, попивая кофе, сидел машинист, с грязной полосой поперек небритой щеки; среди инструментов, свертков пакли и жестянок с маслом дымилась печка, на которой кипел кофейник. На оси снаружи стекла две огромных стрелы указывали десять минут второго. Ось дрогнула, минутная стрелка заскрипела и свалилась на фут ниже, отметив одиннадцатую минуту. По карнизам жались в ряды сонные голуби, гуркая и скрипя клювом. Друд зевнул. Цирк и нападение утомили его. Он дождался, когда часовые колокола, отмечая четверть второго, вызвонили такт старинной мелодии, и устремился к гостинице, где временно жил.

## Глава VII

Тщетно искали горожане на другой день в страницах газет описания загадочного события; сила, действующая с незапамятных времен пером и угрозой, разослала в редакции секретный циркуляр, предписывающий забыть необыкновенное происшествие; упоминать о нем запрещалось под страхом закрытия; никаких объяснений не было дано по этому поводу, и редакторы возвратили авторам длиннейшие статьи – плоды бессонной ночи, – украшенные самыми заманчивыми заголовками.

Меж тем слухи достигли такого размаха, приняли такие размеры и очертания, при каких исчезал уже самый смысл происшествия, подобно тому, как гигантской, но бесформенной становится тень человека, вплотную подошедшего к фонарю. Очевидцы разнесли свои впечатления по всем закоулкам, и каждый передавал так, что остальным было бы о чем с ним поспорить, – лучшее доказательство своеобразия в восприятии. В деле Друда творчество масс, о котором ныне, слышно, чрезвычайно хлопочут, проявилось с безудержностью истерического припадка. Правда, мелкотравчатый скептицизм образованной части населения пустил тонкое «но», в глубокомысленной бессмысленности которого уху, настроенному соответственно, слышалось множество остроумнейших изъяснений. На это «но», как на шпульку, наматывалась пестрая нить ходячей энциклопедии. Кто приводил гипнолизм, факирство, кто чудеса техники; ссылались и на старинных фокусников, творивших непостижимые чудеса, с продувной машинкой в подкладке. Не были забыты ни синемаграф, ни волшебный фонарь, ни знаменитые автоматы: механический человек Вебера обыгрывал искуснейших шахматистов своего времени. В силу того, что всякое событие подобно шару, покрытому сложным рисунком, очевидцы противоречили друг другу, не совпадая в описании происшествия, так как каждый видел лишь обращенную к нему часть шара, с сверхсметной прибавкой фантазии, или же, желая поразить сухой точностью, отнимал подробности; таким образом, сама очевидность стала наполовину спорной. Однако «глас божий», то есть вести с конюшен и галерей, праздновал богатый пир, украшаясь всем, что есть вздорного в человеке, когда захочет он небылиц и сам стряпает их. Эти вести создали легенду о черте, выехавшем на белом коне; по точным справкам других, дьявол похитил девочку и улетел с нею в окно; третьи добавляли, что малютка превратилась в старуху страшного вида. Наперерез этой диковине всплыл слух об ангелах, запевших над головой публики о конце мира, но более склонялись все к объяснению, данному буфетчиком «Ниагары», что приезжий грек изобрел летательную машинку, которую можно держать в кармане; грек вылетел из цирка на улицу и упал, потому что в машинке сломался винт. Венцом всей путаницы было потрясающее известие о посещении цирка стаей летающих мертвецов, которые пили, ели, а затем принялись безобразить, срывая с зрителей шляпы и выкрикивая на неизвестном языке умопомрачительные слова.

Малый очаг такого кипения слухов представляла утром 24-го числа кухня гостиницы «Рим», в девятом часу. Здесь, за столом, посреди которого валил пар огромной сковороды с бараниной, лакей и повар вели жаркий спор; их слушали горничные и кухарка; повара, гри-масничая и надевая у плиты друг друга шелчками, успевали в то же время слушать беседу. Лакей хотя и не попал в цирк за отсутствием билетов, но весь вечер протолкался у входа среди несчастливцев, тщетно надеявшихся умиловить контролера сигарой или проскочить, уловив момент, – внутрь.

– Вздор! – сказал повар, выслушав описание повального бегства зрителей. – Хотя бы видел ты собственными глазами, чего, как говоришь сам, – не было.

– Легко сказать – «вздор», – возразил лакей, – тверди «вздор», что бы ты ни услышал. Противно с тобой говорить... Если думают, что я лгу, пусть имеют храбрость сказать мне это прямо в лицо.

– А что тогда будет? – воинственно спросил повар. – Прямо в лицо?! Вот я тебе прямо в лицо и говорю, что ты врешь.

– Я? Вру?

– Ну, не врешь, так сочиняешь, это одно и то же, а если хочешь знать правду, то я тебе объясню: все произошло оттого, что обрушились столбы. Этого я, разумеется, не видел, но думаю, что хватит и такой безделицы. Галереи ведь на столбах, не так ли? А раз зрителей набилось туда втрое больше, чем полагается, подпорки и подломились.

– При чем тут подпорки, – возразил, вспотев от отчаяния, лакей, – когда побежала полная улица народа, двери трещали, и я сам слышал крики. Кроме того, я многих расспрашивал; кажется, ясно.

– Вздор! – сказал повар. – Как обломают тебе ноги, так закричишь, сам не зная что. Бывает, что с испуга человек сходит с ума и начинает нести всякую чепуху.

– Уж всем известно, что вы неверующий, – заголосила горничная в то время, как ее подруга с кухаркой, разинув рты, трепетали в припадке острого любопытства, – а я еще маленькая видела такую вещь, что попросите меня рассказать о том на ночь, я ни за что не решусь. Приходит к нам человек, – дело было ночью, – и просится ночевать...

– И я хорошо помню, – перебил лакей, – как вышел из двери солидный, вежливый господин. «Что там произошло?» – спросил я его и вижу, что он сильно взволнован; он мне сказал: «Не ищите суетных развлечений. Я видел, как в человека вселился демон и поднял его на воздух. Молитесь, молитесь!» И он ушел, этак помахивая рукой. Я вам говорю, в одной этой его руке была масса выражения!

Повар не успел произнести – «Вздор!», как горничная, опасаясь, что ее рассказ потонет в ожесточении спорщиков, взяла тоном выше и заговорила быстрее:

– Вы слышите? Я сказала, что тот человек попросился к нам ночевать; отец поворчал, но пустил, а на другой день мать говорила ему: «Что? Разве не была я права?» – она не хотела, чтобы его пустили. Что же вышло? У нас в доме была пустая комната, в которой никто не жил; туда сваливали обыкновенно овощи; там же отец держал токарный станок. В эту комнату уложили мы спать нашего странника. Я его как сейчас вижу: высокий, толстый, седой, а лицо гладкое и такое розовое, как вот у Бетси, или у меня, когда меня не раздражают ничем. Хотя я была маленькая, но ясно видела, что в старике есть что-то подозрительное. Когда он убрался спать, я подкралась к двери, заглянула в замочную скважину и... вы можете представить, что я увидела?

– Нет, нет! Не говорите! Не говорите! – воскликнули женщины. – Ай, что же вы там увидели?

– Он сидел на мешках. Я и теперь вся дрожу, как тогда. «Обожаемые мои члены! – сказал он и снял правую ногу. – Мои любезные оконечности!...» Тут, – ей-богу, я сама это видела, – отнял он и поставил к стене левую ногу. Колени мои подкосились, но я смотрю. Я смотрю, а он снимает одну руку, вешает ее на гвоздь, снимает другую руку, кладет ее этак небрежно, и... и...

– Ну?! – подхватили слушатели.

– И преспокойно снимает с себя голову! Вот так! Бряк ее на колени!

Здесь, желая изобразить ужасный момент, рассказчица схватила себя за голову, вытаращив глаза, а затем, с видом изнеможения, вызванного тяжелым воспоминанием, картинно уронила руки и откинулась, переводя дух.

– Ну, уж это ты врешь, – сказал повар, интерес которого к повествованию заметно упал, как только горничная лишила нищего второй руки. – Чем же он снял голову, если у него не было рук?

Горничная обвела его ледяными глазами.

– Я давно замечаю, – хлестко возразила она, – что вы ведете себя как азиатский паша, не имея капельки уважения к женщине. Кто вбил вам в голову, что старик был без рук? Я же говорю, что руки у него были.

Ум повара помутился; бессильно махнул он рукой и плюнул. В этот момент вошел, смотря поверх огромных очков, человек в переднике и войлочных туфлях. Это был коридорный с верхнего этажа.

– Странное дело, – сказал он, ни к кому в отдельности не обращаясь, но обводя всех по очереди мрачным, нездешним взглядом. – Что? Я говорю, что это странное дело, как и доложил я о том ночью же управляющему.

Наступила вязкая пауза.

– Какое же это странное дело? – спросил лакей.

– Как вспомню – мороз подирает, – сказал коридорный, когда новая пауза достигла неприятных размеров. – Слушайте. Сегодня, во втором часу ночи, почистив все сапоги, проходил я мимо 137-го и, заметив, что дверь не заперта, а притворена, – постучал; не за делом, а так. Мало ли что может быть. Было там тихо. Я вошел, убедился, что жильца нет, запер ключом дверь, а ключ положил в карман, потом повесил его на доску. После того как я задержался наверху минут пять, снова пошел вниз и, как дорога моя была мимо того же 137-го, увидел, что дверная ручка качнулась. Кто-то изнутри пробовал отворить дверь. Я тихо подошел к ней и замер, – еще раз дернулась ручка, затем раздалась шаги. Тут я заглянул в скважину. В передней был свет, и я увидел спину отходящего человека. У портьеры, отведя ее, он остановился и повернулся, – но это был не чужой, а тот самый Айшер, что там живет. Минут через пять, не больше, он взошел в коридор по лестнице, снял ключ и попал к себе.

Изложив эти обстоятельства, коридорный вновь по очереди осмотрел широко раскрытые рты и прибавил:

– Понимаете?

– Черт побери, – сказал лакей, ехидно взглянув на повара, который на этот раз не закричал «вздор!», а лишь горько покачал головой над куском бараньего жира. – Как же он мог оказаться у себя дома?

– Если не через балкон, то разве что в образе комара или мухи, – пояснил коридорный, – даже мыши не пролезть в замочную скважину.

– А что сказал управляющий?

– Он сказал: «Гм... только, я думаю, не померещилось ли тебе?» Однако я видел, как он с легкостью побежал вверх, должно быть, затем, чтобы посмотреть самому в дырку; а спускался он назад с лицом втрое длиннее, чем оно было.

Тут все стали обсуждать поведение и личность таинственного жильца.

– Он редко бывает дома, – сказал коридорный, причем вспомнил, что Айшер предпочел номер в верхнем этаже, хотя эта комната хуже свободных номеров этажей нижних.

Бетси пропела:

– Степенный молодой человек, на редкость кроткий и вежливый; никто еще не слышал от него замечаний, даже когда забудешь пройтись по комнате щеткой или, стоя перед зеркалом, помедлишь явиться на звонок.

Никто не знал, чем он занимается, никто не посетил его. Слышали иногда, как он разговаривает сам с собой или, смотря в книгу, тихо смеется. Бесполезно расставлять ему пепельницы, потому что окурки все равно валяются на полу.

Меж тем лакей как бы впал в транс; все созерцательнее, значительнее и рассеянее становилось его лицо, и все выше возводил он глаза к потолку, где бодро жужжали мухи. Возможно, что эти насекомые сыграли для него роль легендарного Ньютонова яблока, дав разрозненной добыче ума связь кристаллическую; подняв руку, чтобы привлечь внимание, он уставился нахмуренным взглядом в сизый нос повара и слабым голосом, за каким в таких слу-

чаях стоит гордая уверенность, что сказанное прозвучит поразительнее громовых возгласов, медленно произнес:

– А знаете ли вы, кто такой жилец 137-го номера, кто этот человек, попадающий домой без ключа, кто он, именуемый Симеон Айшер? Да, кто он, – знаете вы это? А если не знаете, то желаете знать или не желаете?

Выяснилось, что желают все, но что некоторые недолюбливают, когда человек кривляется, а не говорит прямо.

– Прямо?! – воскликнул лакей. – Так вот! – Он встал, картинно опрокинул стул и, протянув правую руку к сетке для процеживания макарон, крикнул: – Человек, попадающий без ключа! Человек, требующий, чтобы ему непременно отвели верхнее помещение! Человек, о котором никто не знает, кто он такой, – этот человек есть тот, который полетел в цирке!

Раздалось женское «Ах!», и шум изумления заглушил раздражительный протест повара. В эту минуту вбежал тощий мальчуган, издали еще примахивая к себе рукой Бетси и крича: «Идите скорей, вас требует управляющий!»

– По-вашему, все мошенники! – вскричала, убегая с мальчиком, задетая в своих симпатиях, Бетси. – Это, может, вы летаете, а не Айшер!

## Глава VIII

В бешенстве человеческих отношений перебрасывается быстрый и тонкий луч холодного света – фонарь полиции. Когда коридорный донес управляющему гостиницей, что изнутри номера 137 дергалась ручка двери, – луч фонаря пристально остановился на лице управляющего и, сверкнув приказательно, позвал к руке, державшей фонарь. Рука издали казалась обыкновенной рукой, в обшлагах с казенными пуговицами, но вблизи выразила всего человека, который владел ею. Ее пальцы были жестки и плоски. Она лежала, как каменная, на углу большого стола. Фонарь исчез, его заменил свет яркой зеленой лампы.

Ночь кончилась; этот свет также исчез, уступив блеску раннего солнца, в котором Бетси предстала пытливым и равнодушным глазам управляющего гостиницей. Он взял резкий тон крайнего недовольствия:

– Вы обслуживаете верх и так нерадиво, что на вас стали поступать жалобы. Мне это не нравится. Я выслушал неприятные вещи. Приборы не чищены, мебель расставлена неаккуратно, подаете тупые ножи, расплескиваете кофе и чай и приносите мятые салфетки. До сих пор я не делал вам замечаний, считая это простой оплошностью, но сегодня решил наконец покончить с ленью и безобразием.

– Сударь, – сказала пораженная девушка, – извините, я, честное слово, ничего ровно не понимаю. Грех вам, вы так меня обижаете... – Она подняла передник, тыкая им в глаза. – Я так стараюсь, не покладая рук, что не имею для себя свободной минуты. Вам, должно быть, насплетничали. Кто вам жаловался? Кто? Кто?

– Кто бы ни жаловался, – почтенным жильцам я верю и ваши выкрики считаю истерикой. Не трудитесь оправдываться. Впрочем, я придумал взыскание, которое одновременно проучит вас и даст мне возможность убедиться, верны ли жалобы. С этого часа, прежде чем разнести что-либо по номерам, извольте показать мне приборы, кушанья и напитки; я сам посмотрю, так ли вы делаете то, что надо делать; а затем, прекращая наш разговор, предупреждаю, что в следующий раз вы дешево не отделаетесь.

Горничная вышла с тяжелым сердцем, в слезах и горьком недоумении, по-своему объясняя придирку.

«Он приставал ко мне, – решила она, – перещипал мне все руки, но без толку и теперь мстит; будь он, однако, проклят, – я понесу ему на осмотр не только приборы, а все ковры, и так трякну перед его носом, что он съест фунтов пять пыли».

Простодушно изобличив, таким образом, свои отношения к коврам, она поднялась наверх, преследуемая звонками. На сигнальной доске выпали три номера и меж ними номер 137; осмотрев цифры, Бетси ощутила легкую, полную любопытства жуть, навеянную кухонной болтовней. Два жильца потребовали счет и извозчика; голос 137-го номера, осведомившись сквозь портьеру, который час, сообщил, что еще не одет, попросил кофе и рюмку ликера; затем Айшер зевнул.

«Ты, что ли, жаловался? – подумала Бетси, припоминая, как вчера убирала номер несколько второпях. – Фальшивая душа, если обращаешься, словно ни в чем не бывало; хорошо, я покажу тебе, как умею отвечать с достоинством».

Воспоминание о еще некоторых грешках внушило ее подозрению стальную уверенность.

«Все-таки он красив и кроток, как ангел; на первый раз, может быть, надо его простить».

И она, тоном насильственного оживления, в котором, по ее мнению, проглядывал скорбный упрек, ответила, что на часах половина восьмого, что каждый одевается, когда хочет, а кофе она принесет немедленно.

– Прекрасно, – сказал Айшер, – вы, Бетси, не прислуга, а клад. Я очень доволен вами.

Бетси вознамерилась было сказать Айшеру о выговоре управляющего и спросить, не Айшер ли накликал на нее эту беду, но в последних его словах почудилось ей легкое издевательство. Она высунула язык и, довольная тем, что акт мщения скрыт портьерой, кисло произнесла:

– Я ужасно рада, господин Айшер, если имею удовольствие вам угодить, – и вышла, твердо решив впредь держать сердце назаперти.

Она сошла вниз, где у плиты повар в белом колпаке уже колдовал среди облаков пара. Взяв поднос с кофе, Бетси завернула к буфетчику, капнувшему ей в крошечную, как полевой колокольчик, рюмочку огненного жидкого бархата, и понеслась к управляющему. Она решила наказать его оглушительными ударами в дверь, но, к ее удивлению, управляющий открыл тотчас, едва она стукнула.

– А! – сказал он, окидывая беглым взглядом прибор. – Что это за кислая физиономия? Дайте сюда. Я рассмотрю посуду в свете окна. Подождите. – Он удалился, двигая над кофейником пальцами, словно соля хлеб, и через минуту вышел с улыбкой, передавая поднос горничной. – Ну так помните: опрятность и чистота – лучшее украшение женщины.

Излишне говорить, что сервиз, всегда чистый, сверкал теперь ослепительно. Бетси, проворчав: «Наставляйте свою жену», – ушла и отнесла кофе в 137-й номер.

Друд, потягиваясь, прихлебывал из белой с золотом чашки. За раздвинутыми занавесями в обольстительной чистоте и свежести раннего утра сверкал перед ним яркий балкон.

«Кажется, довольно быть здесь. Уже что-то заставляет прислушиваться к этим стенам».

Но легкая пыль, поднятая тайной работой, не задела его дыхания, и размышление сосредоточилось на сенсации. Хотя городские газеты обошли дело полным молчанием, он еще не знал этого. Его внутреннее зрение посетило все углы мира. Он видел, как несутся по телеграфным проволокам, в почтовых пакетах, на красных языках и в серых мозгах пучеглазые, вертлявые вести, пища от нетерпения сбить себя как можно скорее другой проволоке, другому уму, пакету и языку, и как, людоеду подобно, жадно глотает их Легенда, окутанная дырявым плащом Путаницы, родной сестры всякой истории.

Гром грянул в обстановке и при условиях, какие неизбежно явятся началом отрицания. Места, подобные цирку, не слишком авторитетны; любое впечатление платного зрелища во времени и на расстоянии рассматривается как искусственное; улыбка и шутка – вечный его удел. Есть и будут существовать явления, призрачные без повседневности; о них выслушают и поговорят, но если они не повторятся – веры им не более, как честному слову, однажды уже нарушенному. Событие в цирке, исказив окраску и форму, умрет смутным эхом, растерзанное всевозможными толками на свои составные части, из коих самая главная – человек без крыльев под небом – станет басней минуты, пожертвованной досужему разговору о запредельных натуре человеческой чудесах. И, может быть, лишь какой-нибудь отсталый любитель снов, облаков и птиц задумается над страницей развязного журнала с трепетом легкой грезы, закроет книгу и рассеянно посмотрит вокруг.

«Но, если... – Друд приподнял отяжелевшую голову, устраивая подушки выше, – если я решу жить открыто, с наукой произойдут корчи. Уж я слышу тысячу тысяч докладов, прочитанных в жаркой бане огромных аудиторий. Там постараются внушить резвую мысль, что рассмотренное явление, по существу, согласно со всяческими законами, что оно есть непредвиденный аккорд сил, доступных исследованию. А в тишине кабинета, мужественно обложась горами книг, какой-нибудь растерянный, седой человек, проживший жизнь с гордо поднятой головой, в славе и уважении, станет искать среди страниц извилистую тропу, по которой можно залезть внутрь этого, сожравшего его пропитанную потом систему „аккорда“, пока не убедится в тщете усилий и не отмахнется словами: „Икс. Вне науки. Иллюзия“, – подобно досужему остроумцу, доказавшему, что Бонапарта никогда не было».

И перед ним с ясностью напряженного зрения встал круг седобородых мужчин в мантиях и париках, которые, ухватив друг друга за языки, пытались крикнуть нечто решительное. Тогда Друд понял, что засыпает и гибнет, но этот печальный момент раненого сознания тотчас затонул в слабости; с усилием поднял он веки и, повинуясь роковой лени, снова закрыл их. В синей тьме поплыли лучистые пятна; они угасли, и лицо спящего побледнело.

Следствием всего этого было небольшое собрание праздных людей у подъезда гостиницы, откуда четыре санитара вынесли на носилках неподвижное тело, окутанное холстом. Лицо также оставалось закрытым. Управляющий, присутствуя при этой сцене, в ответ на соболезнующие вопросы сказал, что увозят больного, захворавшего неожиданно и тяжело; несчастный лишен сознания.

– Быть может, простой нервный припадок, – говорил он. – Я, впрочем, не доктор.

Тем временем больного уложили в карету, служители поместились внутри, а на козлы, к кучеру, сел бледный человек в очках, с серым лицом. Он что-то шепнул кучеру. Тот, взяв полную рысь, заторопил лошадей, и карета, свернув за угол, скользнула к тюрьме.

## Глава IX

Вечером следующего дня Руна посетила министра, своего дядю по матери. Уже было одиннадцать, но Дауговет принял ее. Он выразил лишь удивление, что она, любимица, как бы нарочно выбрала такой час с целью сократить его удовольствие.

Она сказала:

– Нет, ваше удовольствие, дядя, может быть, увеличится в связи с тем, что я привезла. – И она рассмеялась, а от смеха засмеялась вся ее красота, равная откровению.

Красота красит и тех, кто созерцает ее; все ее оттенки и светлы вызовут похожие на них чувства, а все вместе взволнует и осчастливит. Но еще неотразимее действует совершенство, когда оно вооружено сознанием своей силы. Только удалясь, можно бороться с ним, но и тогда ему обеспечена часть победы – улыбка задумчивости.

Поэтому, имея в виду все средства для достижения цели, красавица-девушка оделась как на выезд – в блестящее открытое платье, напоминающее летний цветок. Из кружев выходили ее нежные, белые плечи; обнаженные руки дышали плавностью и чистотой очертания; лицо улыбалось. В ее тонких бровях была некая милая вольность или, скорей, нервность линии, что придавало взгляду своеобразное выражение капризной откровенности, как бы говоря постоянно и всем: «Что делать, если я так невозможно, непростительно хороша? Примиритесь с этим, помните и простите».

– Дитя, – сказал министр, усаживая ее, – я старик и довожусь родным дядей, но должен сознаться, что за право смотреть на вас глазами – хотя бы – Галля охотно и с отвращением вернул бы судьбе свой властный мундир. Жаль, у меня нет таких глаз.

– И я не верю слепым, поэтому заговорю о вашей безошибочной, прочной любви к книгам. Вы не изменили своей привязанности?

Дауговет оживился, что случалось с ним неизменно, если затрагивали этот вопрос.

– Да, да, – сказал он, – меня заботят теперь «Эпитафии» 1748 г., изданные в Мадриде под инициалами Г. Ж.; два экземпляра проданы Верфесту и Гроссману, я опоздал, хотя относительно одного экземпляра есть надежда; Верфест не прочь от переговоров. Однако, – он взглянул на книгу, которая была с Руной, – не фея ли вы и не драгоценность ли Верфеста с тобой?

Министр переходил на «ты» в тех случаях, когда хотел дать этим понять, что свободно располагает временем.

– Сознаюсь, эту сверхъестественную надежду внушило мне твое торжественное, внутреннее освещение и загадочные слова о радости. Все же иногда жаль, что чудесное существует только в воображении.

– Нет, не «Эпитафии». – Руна мельком взглянула на свою книгу. – Как хотите, то, что мы с вами видели в цирке, есть чудо. Я не понимаю его.

Министр, прежде чем отвечать, помолчал, обдумывая слова, какими мог подчеркнуть свое нежелание говорить об удивительном случае и странной выходке Руны.

– Я не понимаю – что понимать? Кстати, ты испугалась, кажется, больше всех. Откровенно говоря, я жалею, что был в «Солейль». Мне неприятно вспоминать о сценах, которых я был свидетелем. Относительно самого факта, или, как ты выражаешься, – «чуда», я скажу: ухищрения цирковых чародеев не прельщают меня разбором их по существу, к тому же в моем возрасте это опасно. Я, чего доброго, раскрою на ночь «Шехерезаду». Очаровательная свежесть старых книг подобна вину. Но что это? Ты несколько похудела, моя милая?

Она вспомнила, что пережила в эти два дня, одержимая желанием найти человека, запевшего под куполом цирка. В напиток, которым она пыталась утолить долгую жажду, этот старик, ее дядя, бросил яд. Поэтому лицемерие Дауговета возмутило ее; прикрыв гнев улыбкой рассеянности, Руна сказала:

– Я похудела, но причина тому вы. Я еще более похудела бы, не будь у меня в руках этой книги.

Министр поднял брови.

– Где ключ к загадкам? Объясни. Я уже делаюсь наполовину серьезен, так как ты тревожишь меня.

Девушка шутя положила веер на его руку.

– Смотрите мне в глаза, дядя. Смотрите внимательно, пока не заметите, что нет во мне желания подурчиться, что я настроена необычно. – Действительно, глаза ее сосредоточенно заблестели, а полуоткрытый рот, тронутый игрой смеха, вздрагивал с кротким и пленительным выражением. – Убедительно ли я говорю? Видите ли вы, что мне хорошо? В таком случае, потрудитесь проверить, способны ли вы вынести удар, потрясение, молнию? Именно – молнию, не потеряв сна и аппетита?

В ее словах, в звонкой неровности ее голоса чудилось торжество оглушительного секрета. Молча смотрел на нее министр, следуя невольной улыбкой всем тонким лучам игры прекрасного лица Руны, с предчувствием, что приступ скрывает нечто значительное. Наконец ему сообщили ее волнение; он отечески нагнулся к ней, сдерживая тревогу.

– Но, боже мой, что? Дай опомниться! Я всегда достаточно владею собой.

– В таком случае, – важно сказала девушка, – что думаете вы о покупке Верфеста? Есть ли надежда «Эпитафиям» засиять в вашей коллекции?

– Милая, если не считать надеждой твои странные вопросы, твою экзальтацию, – нет, нет, почти никакой. Правда, я заинтересовал одного весьма ловкого комиссионера, того самого, который обменивал Грею золотой свиток Вед XI столетия на катехизис с пометками Льва VI, уверив владельца, что драгоценная рукопись приносит несчастье ее собственнику, – да, я намагнитил этого посредника вескими обещаниями, но Верфест, кажется, имеет предложения более выгодные, чем мои. Признаюсь, этот разговор глубоко волнует меня.

– В таком случае, – Руна весело вздохнула, – «Эпитафии» вам придется забыть?

– Как?! Лишь это ты сообщаешь мне, действуя почти страшно?!

– Нет, я раздумываю, не утешит ли вас что-либо равное «Эпитафиям»; что так же, как они, или еще сильнее того манит вас; над чем забылись бы вы, разгладив морщины?

Министр успокоился и воодушевился.

– Так, все ясно мне, – сказал он, – видимо, библиомания – твоё очередное увлечение. Хорошо. Но с этого надо было начать. Я назову редкости, так сказать, неподвижные, ибо они составляют фамильное достояние. Истинный, но не всемогущий любитель думает о них с платоническим умилением влюбленного старца. Вот они: «Объяснение и истолкование Апокалипсиса» Нострадамуса, 1500 года, собственность Вейса; «Дон Кихот, великий и непобедимый рыцарь Ламанчский» Сервантеса, Вена, 1652 года, принадлежит Дориану Кемболлу; издание целиком сгорело, кроме одного экземпляра. Затем...

Пока он говорил, Руна, склонив голову, задумчиво водила пальцами по обрезу своей книги. Она перебила:

– Что, если бы вам подарили «Объяснение и истолкование Апокалипсиса»? – невинно осведомилась она. – Вам это было бы очень приятно?

Министр рассмеялся.

– Если бы ты, как в сказке, превратилась в фею? – ответил он, ловя себя, однако, на том, что присматривается к рукам Руны, небрежно поворачивающим свою книгу, с суеверным чувством разгоряченного охотника, когда в сумерках тонкий узор куста кажется ветвистой головой затаившегося оленя. – А ты достойна быть феей.

– Да, вернее – я ужилась бы с ней. Но и вы достойны владеть Нострадамусом.

– Не спорю. Дай мне его.

– Возьмите.

И она протянула редкость с простотой человека, передающего собеседнику наскучившую газету.

Министр не понял. Он взял и прищурился на кожаный переплет, затем улынулся светлой улыбке Руны.

– Да? Ты это читаешь? А в самом деле, обернись мгновенно сей, надо думать, ученый опыт золотом Нострадамуса, я, пожалуй, окаменел бы на столько времени, на сколько, так некстати, окаменел Лот.

Без подозрения, хотя странно и тяжело сжалось сердце, откинул он переплет и увидел заглавный лист с знаменитой виньеткой, обошедший все специальные издания и журналы Европы, – виньеткой, в выцветших штрихах которой, стиснутые столетиями, развернулись пружиной и прянули в его мозг вождения библиофилов всех стран и национальностей. Все вздрогнуло перед ним, руки разжались, том упал на ковер, и он поднял его движениями помещанного, гасящего воображенный огонь.

– Как? – дико закричал Дауговет. – Нострадамус – и без футляра! Но ради всех святых твоей души, – какой джинн похитил для тебя *это*? Боги! Землетрясение! Революция! Солнце упало на голову!

– Голову, – спокойно поправила девушка. – Вы обещали не волноваться.

– Если не потеряю рассудок, – сказал ослабевший министр, припадая к сокровищу с помутившимся, бледным лицом, – я больше волноваться не буду. Но неужели Вейс пустил библиотеку с аукциона!

Говоря это, он перенес драгоценность на круглый столик под лампу с бронзовым изображением Гения, целующего Мечту, и опустил свет, затем несколько овладел чувствами.

Руна сказала:

– Все это – результат моего извещения Вейсу, что я прекращаю двадцатилетний процесс «Трех Дорог», чем отдаю лес и ферму со всеми ее древностями. Вейс крайне самолюбив. Какое торжество для такого человека, как он! Мне не стоило даже особого труда настаивать на своем условии; условием же был Нострадамус.

Она рассказала, как происходили переговоры – через посредника.

– Безумный, сумасшедший Вейс, – сказал министр, – его отец развелся с женой, чтобы получить первое издание гуттенберговского молитвенника; короче, он променял жену Абстнеру на триста двадцать страниц древнего шрифта и, может быть, поступил хорошо. Но прости мое состояние. Такие дни не часты в человеческой жизни. Я звоню. Ты ужинаешь со мной? Я хочу показать, что происходит в моей душе особенным действием. Вот оно.

Он нажал звонок, вызвал из недр послушания отлично вылощенную фигуру лакея с неподвижным лицом.

– Гратис, я ужинаю дома. Немедленно распорядитесь этим. Ужин и сервиз должны быть совершенно те, при каких я принимал короля; прислуживать будете вы и Вельвет.

Смеясь, он обратился к племяннице:

– Потому что подарок, достойный короля, есть веяние державной власти, и оно тронуло меня твоими руками. А! Ты задумчива?.. Да, странный день, странный вечер сегодня. Прекрасно волновать жизнь такими вещами, такими сладкими ударами. И я хотел бы, подражая тебе, свершить нечто равное твоему любому желанию, если только оно у тебя есть.

Руна, опустив руки, молча смотрела в его восторженное лицо.

– Так надо, так хорошо, – произнесла она тихо и странно, с видом вслух думающей, – веяние великой власти с нами, да будет оно отличено и озарено пышностью. И у меня – вы правы в своем порыве – есть желание; оно не материально; огромно оно, сложно и безрассудно.

– Ну, нет невозможного на земле; скажи мне. Если в отношении его ты не можешь быть Бегуэм, как было с подарком, – я стану лицом к нему, как министр и... Дауговет.

Их глаза ясно и остро встретились.

– Пусть, – сказал министр. – Поговорим за столом.

## Глава X

Так начался ужин в честь короля-Книги. Стол был накрыт, как при короле. Гербы, лилии и белые розы покрывали его, на белой атласной скатерти, в полном блеске люстр и канделябров, огни которых, отражаясь на фарфоре и хрустале, оведали зал вихрем золотых искр. Разговор пошел о сильных желаниях, и скоро наступил удобный момент.

– Дядя, – начала Руна, – прикажите удалиться слугам. То, что я теперь скажу, не должен слышать никто, кроме вас.

Старик улыбнулся и выполнил ее просьбу.

– Начнем, – сказал он, наливая вино, – хотя, прежде чем открыть мне свое, по-видимому, особенное желание, хорошо подумай и реши, в силах ли я его исполнить. Я министр – это много; больше, чем ты, может быть, думаешь, но в моей деятельности нередки случаи, когда именно звание министра препятствует поступить согласно собственному или чужому желанию. Если такие обстоятельства отпадают, я охотно сделаю для тебя все, что могу.

Он оговорился из любви к девушке, отказать которой, во всяком случае, ему было бы трудно и горько, но Руне показалось уже, что он догадывается о ее замысле. Встревоженная, она рассмеялась.

– Нет, дядя, я сознаю, что своим решительным «нет» уже как бы обязываю вас; однако, беру в свидетели бога, – единственно от вас зависит оказать мне громадную услугу, и нет вам достаточных причин отказать в ней.

Взгляд министра выражал спокойное и осторожное любопытство, но после этих слов стал немного чужим; уже чувствуя нечто весьма серьезное, министр внутренне отдалился, приготавливаясь рассматривать и взвешивать всесторонне.

– Я слушаю, Руна; я хочу слышать.

Тогда она заговорила, слегка побледнев от сознания, что силой этого разговора ставит себя вне прошлого, бросая решительную ставку беспощадной игре «общих соображений», бороться с которыми может лишь словами и сердцем.

– Желанию предшествует небольшой рассказ; вам, и вероятно очень скоро, по мере того, как вы начнете догадываться, о чем речь, захочется перебить меня, даже *приказать* мне остановиться, но я прошу, чего бы вам это ни стоило, – выслушать до конца. Обещайте, что так будет, тогда, в крайнем, в том случае, если ничто не смягчит вас, у меня останется печальное утешение, что я отдала своему желанию все силы души, и я с трепетом вручаю его вам.

Ее волнение передалось и тронуло старика.

– Но, бог мой, – сказал он, – конечно, я выслушаю, что бы то ни было.

Она молча поблагодарила его прелестным движением вспыхнувшего лица.

– Итак, нет более предисловий. Слушайте: вчера моя горничная Лизбет вернулась с интересным рассказом; она ночевала у сестры, – а может быть, у друга своего сердца, – о чем нам не пристало доискиваться... в гостинице «Рим»...

Министр слушал с настороженной улыбкой исключительного внимания, его глаза стали еще более чужими; глазами министра.

– Эта гостиница, – продолжала девушка, выговаривая отчетливо и нервно каждое слово, что придавало им особый личный смысл, – находится на людной улице, где много прохожих были свидетелями выноса и поспешного увоза в карете из той гостиницы неизвестного человека, объявленного опасно больным; лицо заболевшего оставалось закрытым. Впрочем, Лизбет знала от сестры его имя; имя это Симеон Айшер, из 137-го номера. Горничная сказала, что Айшер, по глубокому убеждению служащих гостиницы, есть будто бы тот самый загадочный человек, выступление которого поразило зрителей ужасом. Не так легко было понять из ее объяснений, почему Айшера считают тем человеком. Здесь замешана темная история с клю-

чом. Я рассказываю об этом потому, что слухи среди прислуги в связи с загадочной болезнью Айшера возбудили во мне крайнее любопытство. Оно разрослось, когда я узнала, что Айшер за четверть часа до увоза или – согласимся в том – похищения был весел и здоров. Утром он, лежа в постели, пил кофе, почему-то предварительно исследованный управляющим гостиницей под предлогом, что прислуга нечистоплотна и он проверяет, чист ли прибор.

Вечером вчера ко мне привели человека, указанного одним знакомым как некую скромную знаменитость всех частных агентурных контор, – его имя я скрою из благодарности. Он взял много, но зато глубокой уже ночью доставил все справки. Как удалось ему получить их – это его секрет; по справкам и сличению времени мне стало ясно, что больной, вывезенный из гостиницы в половине восьмого утра и арестованный, посаженный в тайное отделение тюрьмы около девяти, – одно и то же лицо. Это лицо, последовательно превратясь из здорового в больного, а из больного в секретного узника, было передано тюремной администрации в том же бессознательном состоянии, причем комендант тюрьмы получил относительно своего пленника совершенно исключительные инструкции, узнать содержание которых, однако, не удалось.

Итак, дядя, ошибки нет. Мы говорим о летающем человеке, схваченном по неизвестной причине, и я прошу вас эту причину мне объяснить. Смутно и, быть может, неполно я догадываюсь о существе дела, но, допуская причину реальную, то есть неизвестное мне преступление, я желала бы знать все. Кроме того, я прошу вас нарушить весь ход государственной машины, разрешив мне, тайно или явно – как хотите, как возможно, как терпимо и допустимо – посетить заключенного. Теперь все. Но, дядя, – я вижу, я понимаю ваше лицо, – ответьте мне несурово. Я еще не все сказала вам; это несказанное – о себе; я пока стиснута ожиданием ответа и ваших неизбежных вопросов; спрашивайте, мне будет легче, так как лишь понимание и сочувствие дадут некоторое спокойствие; иначе едва ли удастся мне объяснить мое состояние. Минуту, одну минуту молчания!

Минуту... Но прошло, может быть, пять минут, прежде чем министр вернулся из страшной дали холодного ослепительного гнева, в которую отбросило его это признание, заключенное столь ошеломительной просьбой. Он смотрел в стол, пытаясь удержать нервную дрожь рук и лица, *не смея* заговорить, стараясь побороть припадок бешенства, тем более ужасный, что он протекал молча. Наконец, ломая себя, министр выпил залпом стакан воды и, прямо посмотрев на племянницу, сказал с мертвой улыбкой:

– Вы кончили?

– Да, – она слабо кивнула. – О, не смотрите на меня так...

– Надо обратить особенное внимание на все частные конторы, агентства; на все эти шайки самолюбивых следопытов. Довольно. Нас хватают за горло. Я истреблю их! Руна, мои сообщения в деле Айшера таковы. Будьте внимательны. Суть явления непостижима: ставим X, но, быть может, самый большой с тех пор, как человек не летает. Речь, конечно, не о бензине; бензин контролируется бензином. Я говорю о силе, способности Айшера; здесь нет контроля. Но никакое правительство не потерпит явлений, вышедших за пределы досягаемости, в чем бы явления эти ни заключались. Отбрасывая примеры и законы, займемся делом по существу.

Кто он – мы не знаем. Его цели нам неизвестны. Но известны его возможности. Взгляните мысленно сверху на все, что мы привыкли видеть в горизонтальной проекции. Вам откроется внутренность фортов, доков, гаваней, казарм, артиллерийских заводов – всех ограждений, возводимых государством, всех построек, планов, соображений, численностей и расчетов; здесь нет уже тайн и гарантий. Я беру – предположительно – злую волю, так как добрая доказана быть не может. В таких условиях преступление превосходит всякие вероятия. Кроме опасностей, указанных мной, нет никому и ничему защиты; неуловимый Некто может распоряжаться судьбой, жизнью и собственностью всех без исключения, рискуя лишь, в крайнем случае, лишним передвижением.

Явление это подлежит беспощадному карантину, быть может – уничтожению. Во всем есть, однако, сторона еще более важная. Это – состояние общества. Наука, совершив круг, по черте которого частью разрешены, частью грубо рассечены, ради свободного движения умов, труднейшие вопросы нашего времени, вернула религию к ее первобытному состоянию – уделу простых душ; безверие стало столь плоским, общим, обиходным явлением, что утратило всякий оттенок мысли, ранее придававшей ему, по крайней мере, характер восстания; короче говоря, безверие – это жизнь. Но, взвесив и разложив все, что было тому доступно, наука вновь подошла к силам, недоступным исследованию, ибо они – в корне, в своей сущности – ничто, давнее Все. Предоставим простецам называть их «энергией» или любым другим словом, играющим роль резинового мяча, которым они пытаются пробить гранитную скалу...

Говоря, он обдумывал в то же время все обстоятельства странного отступления в деле Айшера, вызванного просьбой девушки. Мысленно он решил уже позволить Руне это свидание, но решил также дополнить позволение тайной инструкцией коменданту, которая придавала бы всему характер эксцентричной необходимости, имеющей государственное значение; он сам надеялся узнать таким путем кое-что, что-нибудь, если не все.

– ...гранитную скалу. Глубоко важно то, что религия и наука сошлись вновь на том месте, с какого первоначально удалились в разные стороны; вернее, религия поджидала здесь науку, и они смотрят теперь друг другу в лицо.

Представим же, что произойдет, если в напряженно ожидающую пустоту современной души грянет этот образ, это потрясающее диво: человек, летящий над городами вопреки всем законам природы, уличая их в каком-то чудовищном, тысячелетнем вранье. Легко сказать, что ученый мир кинется в атаку и все объяснит. Никакое объяснение не уничтожит сверхъестественной картинности зрелища. Оно создаст легковоспламеняющуюся атмосферу мыслей и чувств, подобную экстатическим настроениям Крестовых походов. Здесь возможна религиозная спекуляция в гигантском масштабе. Волнение, вызванное ею, может разразиться последствиями катастрофическими. Все партии, каждая на свой манер, используют этого Айшера, приводя к столкновению тьму самых противоречивых интересов. Возникнут или оживут секты; увлечение небывалым откроет шлюзы неудержимой фантазии всякого рода; легенды, поверья, слухи, предсказания и пророчества смешают все карты государственного пасьянса, имя которому – Равновесие. Я думаю, что сказал достаточно о том, почему этот человек лишен свободы. Поговорим о твоём желании; объясни мне его.

– Оно сродни вашей любви к редкой книге. Все необычайное привлекает меня. Был человек, который покупал эхо, – он покупал местности, где раздавалось многократное, отчетливое, красивое эхо. Я хочу видеть Айшера и говорить с ним по причине не менее сильной, чем те, какие заставляют искать любви или совершить подвиг. Это – вне рассудка; оно в душе и только в душе, – как иначе объяснить вам? Это – я. Допустите, что живет человек, который никогда не слышал слова «океан», никогда не видел его, никогда не подозревал о существовании этой синей страны. Ему сказали: «Есть океан, он здесь, рядом; пройди мимо, и ты увидишь его». Что удержало бы в тот момент этого человека?

– Довольно, – сказал министр, – твоё волнение искренно, а слова достойны тебя. Разрешение я даю, но ставлю два условия: молчание о нашей беседе и срок не более получаса; если нет возражений, я немедленно напишу приказ, который отвезешь ты.

– Боже мой! – сказала она, смеясь, вскакивая и обнимая его. – Мне ли ставить условия? Я на все согласна. Скорее пишите. Уже глубокая ночь. Я еду немедленно.

Министр написал пространное, подробное приказание, запечатал, передал Руне, и она, не теряя времени, поехала, как во сне, в тюрьму.

## Глава XI

Ту ночь, когда Друд всколыхнул тайные воды людских душ, Руна провела в острой бессоннице. К утру уже не помнила она, что делала до того часа, когда, просветлев от зари, город возобновил движение. Казалось ей, что она ходила в озаренных пустых залах, без цели, без размышления, в том состоянии, когда мысли возникают произвольно, без усилий и плана, отражая пожар огромного впечатления, как брошенный с крутизны камень, сталкивая и увлекая другие камни, чужд уже движению швырнувшей его руки, низвергаясь лавиной. В сердце ее возникла цель, показавшая за одну ночь все ее силы, доньше не обнаруженные, поразившие ее самое и легко двинувшие такие тяжести, о которых она не знала и понаслышке. Так, часто по незнанию человек долго стоит спиной к тайно-желанному: кажется со стороны, что он дремлет или развлекает себя мелкими наблюдениями, но, внезапно повернув голову и задрожав, приветствует криком восторга чудесную близость сокровища, а затем, сосредоточив все возбуждение внутри себя, стремительно овладевает добычей. Она жила уже непобедимым видением, путающим все числа судьбы.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.